

НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, ИЛИ «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?»

Дети в горящем доме

Михаил Рыклин

После исчезновения моей жены, Анны Альчук, 21 марта этого года я прожил три недели в атмосфере полицейского расследования, привыкания к пустоте, к пропасти, разверзающейся все шире, грозящей поглотить остаток жизни.

Шарахался, отворачиваясь, от ее портретов с надписью «Полиция просит о помощи» в окнах кафе, витринах аптек и магазинов – видеть ее лицо на них было невыносимо.

Что сказать о квартире, где каждая вещь напоминает о ней? Об улицах, где каждый дом является отражением увиденного совместно? Как оторвать «свою» часть? Как по-новому все это увидеть, без поддержки взгляда другого (который настолько стал частью тебя, что до этого ты его не замечал)?

День за днем я выполнял функцию автоответчика, помногу раз в день повторяя потрясенным людям: сказать, собственно, нечего, поиски ведутся, нет ни малейшего следа. Голоса в трубке начинали дрожать, слабнуть, переходили на шепот. При разговорах с Москвой голос удваивался, каждое слово отбрасывало эхо, как будто кроме собеседника я говорил с кем-то еще...

Надежда чуть теплилась!

Через три недели, рано утром 11 апреля, на пороге нашей квартиры стояли два следователя криминальной полиции. В принадлежности моей жене часов и размокших в воде вещей на черно-белых фото, которые они принесли с собой, я мог сомневаться, но, посмотрев на обручальное кольцо, которое Анна проносила тридцать три года (точно такое же, как у меня, только чуть меньше; та же проба, клеймо того же ювелира), я (это было самое трудное) сказал себе, а

потом им: «Да, скорее всего, это она!». Пока я переодевался, чтобы ехать с ними подписать протокол, полицейские – люди явно опытные, многое повидавшие на своем веку – старались, чтобы дверь оставалась приоткрытой – мало ли что делают с собой люди в таком состоянии.

Уже после исчезновения я нашел дневник ее снов последних пяти лет, времени, когда мою жену и других художников сначала травили, поливая грязью по радио, на телевидении и в прессе, потом ее – одну из всех – привлекли к суду, заранее зная, что она невиновна, после чего, через пять с лишним месяцев непрерывных оскорблений и унижений в зале суда, так и не получив ни единого доказательства ее вины, судья (что в России бывает крайне редко: каждое оправдание вредит судейской карьере) признал ее невинной.

Но оправдание – юридическая формальность. В авторитарном обществе человек, выбранный виновным, продолжает нести стигматы вины. Московская художественная среда, понявшая, на чьей стороне сила (а значит, считает вчерашний советский человек, и право), отвернулась от Анны Альчук.

Что чувствовала она все эти годы? Как это преломилось в ее снах? Как роль жертвы, которую ее заставили сыграть и к которой она поначалу относилась с иронией, как к чему-то внешнему (в 2005 году, когда еще шел процесс, она создала коллажированное поэтическое произведение и видео под названием «За все в ответе!»), постепенно с ней срасталась, лишая доверия к окружающему?

Я впервые так близко, вплотную столкнулся с тем, как история, сцепление событий, кажущихся на первый взгляд безличными, вдруг, подобно гальванизированному трупу, ожила, показала зубы и разорвала самого близкого мне человека. Я много писал о социальных трагедиях, президентах, массмедийных стратегиях, уловках, с помощью которых власть обеспечивает эффект подчинения, но тут случилось нечто принципиально иное – преломление времени в судьбе конкретного человека.

Что я понял в эти дни?

Действия крупных игроков, *newsmakers*, не преобразуются в трагедии отдельных людей автоматически, как проявление общего для всех фатума. Каждый преломляет их по-своему, без активности каждого не работает никакая большая стратегия. Важно не просто приказать «Делайте так!» – нужно, чтобы насильственный акт приказа приобрел личину добровольности, стал императивом поведения многих, очень многих людей. Если объявленный врагом человек не сталкивается с тем, что от него отворачиваются друзья или что они подают ему (или ей) руку, осматриваясь по сторонам, как бы не заметили другие, иными словами, если общение с таким человеком не становится табу и для тех, кто втайне относится к нему хорошо и знает, что он ни в чем не виноват, значит, общество не является полностью несвободным, значит, последствия слушания (в других местах их называют проявлением порядочности) еще не катастрофичны.

Недостаточно прослушать речи политиков, пронизанные логикой противо-

стояния и ненависти; нужно, чтобы последствия этой ненависти испытал в жизни конкретный человек, чтобы она была поддержана снизу, обрела эмоциональный, человеческий эквивалент. Если эквивалент обретен, если сказанное с высоких трибун стало частью глубокого репрессивного эмоционального переживания, у более тонких, чувствительных к несправедливости натур (именно такой была моя жена) резко сокращаются шансы выжить: ведь они переживают как несправедливость выполнение другими (в том числе и их друзьями) новых социальных императивов. Новый режим проявления всеобщего представляется этим натурам извращенным; они осмеливаются протестовать и становятся жертвами в неравной борьбе.

В авторитарном социальном климате человек, объявленный виновным, постепенно начинает считать себя виновным, интериоризует навязанную ему вину не потому, что все считают его таковым (у него есть друзья, просто они бессильны ему помочь), а потому что приговорен он инстанцией, которая выступает от имени всех, и все – независимо от того, считают они затравливаемого человека виновным или нет – будут вести себя по отношению к нему так, как если бы он был виновен.

Выбранный козлом отпущения человек постепенно сам записывает вину на своем теле; со временем у него появится желание отбросить виновное тело, выйти из него в пространство, внешнее тому извращенной форме всеобщего, которое его приговорило.

Вот сон, который Анна Альчук записала в самом конце 2003 года, когда ей было предъявлено обвинение в разжигании межнациональной и религиозной розни: «Большая жилая коробка, место, где я обитала, была оставлена в море, рядом с пришвартованным прогулочным корабликом. Сама я вместе со своими друзьями тоже оказалась в море и смотрела на все это с почтительного расстояния. Вдруг между перилами корабля показался огонь.

“Если сейчас его не потушить, – подумала я, – загорится и моя коробка”.

Я поплыла к этому сооружению и попробовала плескать в него водой. Все было бесполезно – огонь разгорался сильнее.

Ко мне плыли друзья, которые махали мне: плыви скорее прочь! В воде замирали отблески пламени.

Проснулась в растерянности: куда теперь податься?».

«Большая жилая коробка» в этом сне – старое местопребывание, квартира, а шире – прошлая жизнь, которую пожирает огонь разожженной против моей жены «народной ненависти». Потушить его нельзя – об этом предупреждают друзья. «Коробка», вся прошлая жизнь, должна сгореть дотла, и здесь сновидящая задает главный, неразрешимый вопрос: «Куда теперь податься?».

Если искать прибежище внутри этого мира, податься некуда.

Постепенно ощущение неуверенности, незащищенности нарастает: начинается война, мир горит, самое важное – спасти из горящего дома детей. Вот

сон, записанный 17 октября 2006 года, через полтора года после завершения процесса против организаторов выставки «Осторожно, религия!»: «Я рядом с каменной стеной, за которой бушует, раздувается пламя. Скоро это пламя вырвется наружу. Надо уходить как можно скорее, а главное, уводить детей. Скорей, скорей – я тороплю их.

Вот перед нами подземное убежище, мы переступаем его порог, и дверь за нами закрывается. “Еще минута – и мы бы погибли”, – думаю я с облегчением.

Во втором сне мир оказался на грани разрушения. Я должна одеться и уйти...».

В «Лотосовой сутре» есть притча о детях в горящем доме, откуда их с помощью уловок (упайя) выводит их отец (Будда). Чтобы дети вышли из «горящего дома трех миров, идущих к упадку», Будда обещает им красивые игрушки, к которым они привязаны. Выход в буддистском понимании не имеет буквального смысла: выйти можно только благодаря осознанию нереальности, иллюзорности, сновидности того, что еще недавно казалось непроницаемым и твердым, реальным и внешним. Адское и райское – лишь разные переживания одного и того же, они не имеют самостоятельного существования и возникают спонтанно как в состоянии сна, так и во время бодрствования.

Если же рисовать себе выход из горящего дома буквально (например, как нахождение безопасного места в самом доме), будет от чего прийти в отчаяние.

«Я понимаю, что сейчас начнется война, – снилось ей 26 октября 2004 года, когда заканчивалось предварительное следствие и начинался процесс, – что красивая одежда больше не понадобится. Снимаю ее, оставляю только теплую. Со мной мальчик лет пятнадцати...

Пришла пора закрыть дверь, отделиться от этого страшного мира. Мы с мальчиком закрываем ворота, задвигаем мощные запоры и задвижки.

Однако ощущение ненадежности всего этого меня не покидает».

В следующем сне опасность исходит от слонов, которые недавно покинули огромную комнату и должны вот-вот возвратиться. «Я переходила из комнаты в комнату, проверяя двери на прочность, одним словом, искала безопасное место».

Медленно, но верно ненависть, раздуваемая сначала против всех участников выставки, а потом, подобно лазерному лучу, сконцентрировавшаяся на моей жене, интериоризуется, становится частью мира ее фантазий. Свидетелей защиты, адвокатов, просто друзей, пришедших поддержать жертв произвола, в здании суда «глубоко верующие» (выражение представителей прокуратуры) оскорбляют, обзывают «жидами», проклинают, заклинают пока не поздно убираться из России. И вот моя жена (наполовину еврейка, воспитанная в нерелигиозной семье, не знающая языка и культуры, никогда не бывавшая в синагоге), сталкиваясь со все более агрессивными антисемитскими выходками людей, которые на процессе выступают в качестве обвинителей, все острее чувствует

себя еврейкой, принимает внутрь направленную на нее ненависть. Один знакомый художник душил ее во сне, она понимает: это из-за того, что я – еврейка; в другом сне она объясняет издателю, с которым мы еще недавно дружили и который теперь издает антисемитскую литературу, что она – полуеврейка и этого предательства ему не простит.

Нарастает страх перед еврейским погромом, в котором участвуют ослепленные яростью дети. Теперь их надо не защищать, а разубеждать. Вот запись от 5 октября 2006 года: «Ожидание, страх еврейского погрома. Я иду сквозь длинную кибитку из пестрой материи и думаю, что в случае погрома ее быстро сокрушат, она никого не защитит.

Откуда-то сверху дети стреляют в меня из водяных ружей, а потом движутся на меня цепью, взявшись за руки. Я иду навстречу, уверена, что смогу их разубедить...».

Моя жена любила людей, нуждалась в их тепле, она не умела и не научилась ненавидеть и быть ненавидимой. Но куда деться от ненависти, провозглашаемой от имени государства, подкрепленной решением Думы (главный законодательный орган России осудил выставку задолго до начала уголовного процесса), поддержанной генералами, телеведущими, священниками, журналистами, коллегами-художниками?

С отдельными людьми можно перестать общаться (за годы путинского правления мы потеряли около половины друзей), но от ненависти, ставшей императивом социального поведения, деться некуда: потому что она – везде.

То, что начиналось как игра, как демонстрация дистанции, отделяющей актера от жертвы, постепенно, в результате мутации среды, которую Анна Альчук считала своей, было интериоризовано, стало частью ее самой. Получив массивное символическое подтверждение, абсурд постепенно перешел в новое качество: стал механизмом самонаказания.

Талантливый поэт, моя жена нуждалась в состояниях блаженного слияния с миром, и вот источники блаженства – доверчивость, раскованность, доброжелательность, своеобразная наивность – исчезли, иссякли, растворились в направленном прямо на нее потоке ненависти. В снах затравливаемого человека нарастает ощущение собственной виновности, а следовательно, и потребность в самонаказании. То, что орудиями ненависти первоначально послужили явные безумцы, в конечном счете лишь подчеркивало неотвратимость приведения приговора в жизнь, несмотря на решение суда. По большому счету, ее приговорил не суд, а совокупность сил, обеспечивших порабощение российского общества (в том числе и культуры) в годы путинского правления. Оправданная судом, Анна Альчук осталась один на один с сообществом, для которого то, за что она боролась, за что пострадала (первоначально это было, как казалось, общее требование: свобода самовыражения художника), в значительной мере потеряло смысл. За эти годы среда смирилась со своим поражением, более того, извлекла

из него существенные преимущества.

Выдержать выходки религиозных фанатиков оказалось значительно легче, чем перенести репрессивную пассивность большинства коллег.

Ужас авторитарных обществ в том, что все в них действует в ситуации, представляющейся безвыходной; поэтому никого нельзя осуждать. Капитуляция становится условием выживания вполне порядочных людей. Деполитизация, поза покорности в таких условиях – ярко выраженная политическая позиция; те, кто отказываются принять эту позу, молчаливо приносятся в жертву, отторгаются социальной тканью. Им грозит опасность отождествления с репрессивным образом самих себя, становлением *такими, какими их хотят видеть*. Растворив в себе коллективную вину, подобные люди рискуют стать искупительной жертвой, которую проигравшие выплачивают победителям.

После трагической гибели многие иностранные журналисты называли мою жену «критиком Путина». Сомневаюсь, что в написанных ею текстах встречается имя российского президента. Политика ее не интересовала, но когда она вторглась в наше пространство и стала его разрушать, когда у нас забирали то, что еще недавно, казалось, принадлежало нам по праву, и я, и моя жена, и другие (к сожалению, немногие) гуманитарии, встав на защиту своего языка, своего права творить, превратились в «критиков Путина». Ситуацию хорошо иллюстрирует конференция «Искусство и табу», состоявшаяся в Москве в октябре 2007 года по инициативе Сахаровского центра. На нее не пришел ни один сколько-нибудь известный московский художник; о проблемах, ключевых для московской арт-сцены, говорили правозащитники, немногие кураторы и арткритики, в основном иностранцы. Для Анны Альчук это было еще одним сигналом покинутости, очередным доказательством того, что силы, развязавшие кампанию ненависти против участников выставки «Осторожно, религия!», подчинили себе сферу культуры, что теперь это не наша, а их территория.

Значит, принесенные жертвы были напрасны.

Быть «критиком Путина», как следует из дневника снов Анны Альчук, смертельно опасно. Она постоянно боится за мою и за свою жизнь. Вот типичный пример: «Мы с Мишей (т.е. со мной. – М.Р.) на каком-то общественном мероприятии среди большого количества людей. Неожиданно нацисты (у меня нет сомнения, что это они, хотя на них нет ни формы, ни свастики) начинают бить Мишу. Никто не приходит ему на помощь. Я понимаю, что мы совершенно беззащитны в этой толпе... Чувствую себя беспомощной и раздавленной. Выхода нет». И еще один пример (30 апреля 2003 года, самый разгар травли участников выставки «Осторожно, религия!»): «Миша говорит о политике очень резко и откровенно. Я вижу нацеленное на него дуло автомата. Понимаю, что его хотят устранить и закрываю его своим телом. В результате я убита, вокруг меня темнота, но я различаю запах Мишиной туалетной воды. “Значит, я умерла не полностью?” – задаю себе вопрос».

В сне от 16 марта 2004 года (в это время в Москве параллельно идут процесс Ходорковского и дело против организаторов выставки «Осторожно, религия!») фигурирует главный, пожалуй, «критик Путина», Михаил Ходорковский. Ему также приходится несладко: «Я сижу в тюрьме на железной кровати, покрытой серым казенным одеялом. Неожиданно рядом со мной оказывается М. Ходорковский. Он говорит, что знает о моем деле, и ложится на кровать, натягивая одеяло до подбородка. “А как ты здесь, Миша?” – спрашиваю я его. “Плохо”, – приподнимаясь, отвечает он, и я вижу, что лицо у него белое, словно рисовая бумага, на нем лихорадочно блестят глаза.

Я понимаю: этому человеку действительно пришлось много пережить; мне его искренне жаль».

Тема незащищенности в ее снах нарастает и после оправдания судом; от управляемой «народной ярости» решение судьи не спасает. К тому же на новом этапе эта ненависть интериоризована, причиной ее является сама сновидящая, истекающая сначала водой, а потом кровью: «Я нахожусь за неким пологом в палатке, – гласит запись от 31 октября 2006 года. – Неожиданно из меня хлынула вода, а в этой воде заструились кровавые ручейки. Крови становилось все больше, и на нее, словно стервятники, сбегались толпы разъяренных людей.

Я сразу понимаю: они хотят убить меня, считают меня ведьмой».

Здесь взгляд другого уже принят внутрь, агрессия толпы воспринимается как возмездие. С какого-то момента логика симптома перестает подчиняться социальным законам и просто здравому смыслу. Бывшее до этого самым ценным начинает восприниматься как препятствие, опоры, соединяющие сновидящего с миром, рушатся.

Но мы не должны – и в этом основной вывод моего текста – отрывать этот этап от предыдущего и представлять его как якобы неизбежное протекание органического заболевания. Моя жена не была психически больным человеком, просто она не смогла выдержать сфокусированную на нее управляемую «народную ярость», постепенно перешедшую в отверженность в ее собственной среде (которая к тому моменту уже перестала быть ее средой, несмотря на то что у нас в ней остались несколько друзей). Если бы среда не мутировала и смогла ее поддержать, она, несомненно, восстановилась бы и прожила еще много лет, но, увы! многие смотрели на нее как на прокаженную, от нее отвернулись, она утратила свое место в мире.

Итак, институциональные стратегии, будучи применены, сталкиваются не с другими институтами, а с человеческими существами, нежными или грубыми, хрупкими или выносливыми. В связи с гибелью моей жены – нежного, хрупкого существа в грубом мире – для меня впервые остро встал вопрос о цене позиции, какой бы ценной в интеллектуальном плане эта позиция ни представлялась. Может ли она стоить другому человеку (даже если он ее разделяет, но психически не выдерживает) жизни?

Теперь я лучше понимаю главного редактора «Новой газеты», который после убийства Анны Политковской предлагал закрыть газету на том основании, что ничто, никакая позиция не стоит выше утраченной человеческой жизни.

Берлин, апрель 2008 года